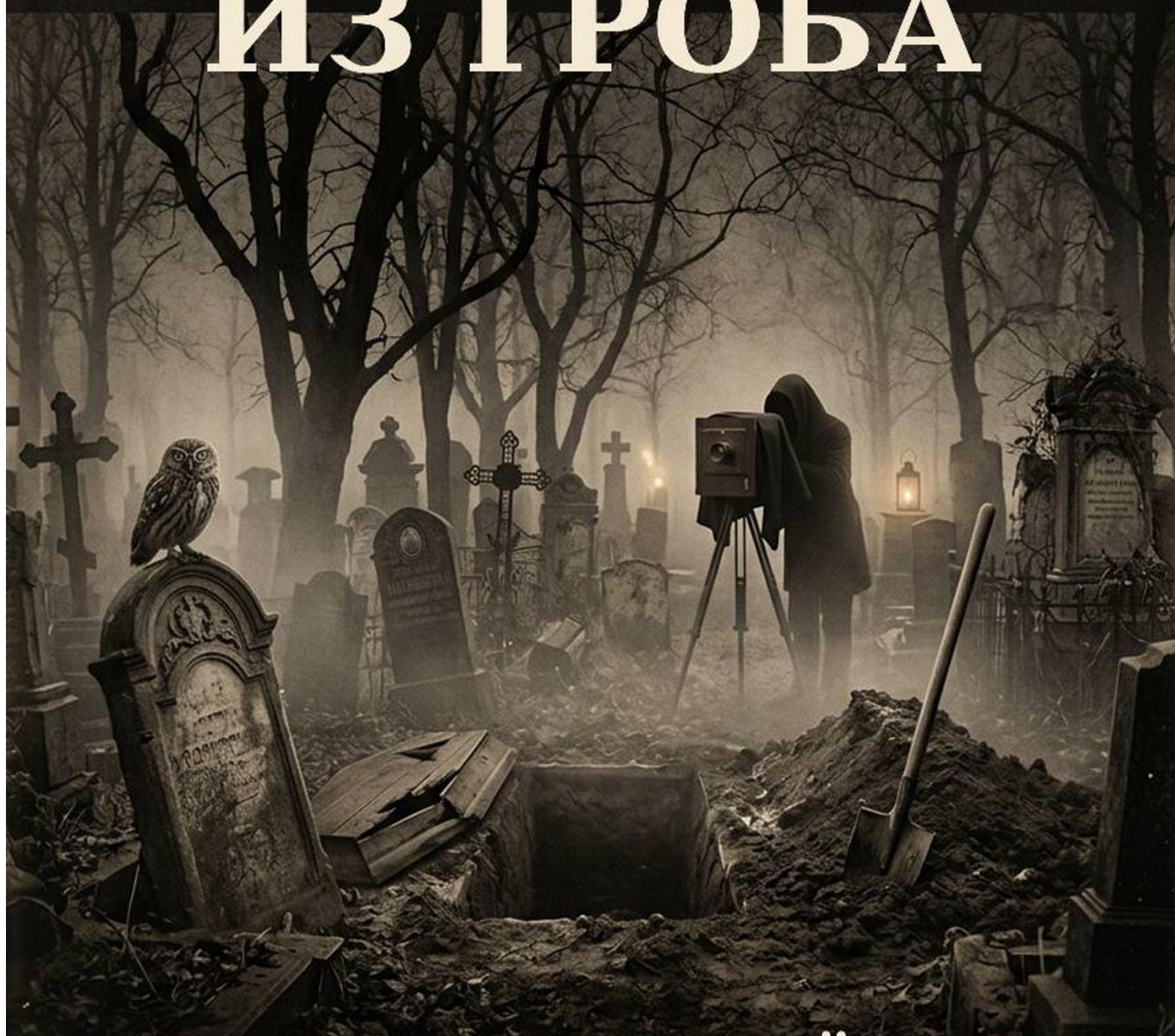


РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

ПОКОЙНИК ИЗ ГРОБА



Надежда Чародейская

Санкт-Петербург. 1882

Надежда Чародейская

Покойник из гроба

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Покойник из гроба / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, ноябрь 1882 года. Купца второй гильдии Сыча похоронили — а через два дня могилу нашли разрытой, а гроб пустым: исчез и покойник, и бриллиантовая булавка на пятнадцать тысяч, с которой его положили в гроб. Страховое общество «Россия» не хочет платить вдове и нанимает фотографа Сергея Вересова — того, кто умеет видеть на стекле то, чего не замечают люди. Вересову предстоит понять, кто разрыл могилу: воры, гробокопатели, которых он помнит ещё по анатомическому театру, — или сам покойник, которому вдруг понадобилось встать. А когда у канала находят второй труп, на этот раз совершенно настоящий, фотограф понимает: одни мертвецы уходят из могилы, а другие в неё возвращаются. Ретро-детектив в духе Акунина и Чижана: ноябрьский Петербург, обаятельный фотограф-сыщик, ироничный тон и покойник, который оказался живее всех живых.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава первая,	6
Глава вторая,	12
Глава третья,	18
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Покойник из гроба

Пролог

В ночь с седьмого на восьмое ноября тысяча восемьсот восемьдесят второго года сторож Волкова кладбища Никодим обходил свой участок и ругался сквозь зубы на погоду, которая, по его твёрдому убеждению, была не петербургская, а какая-то вовсе бессовестная.

С неба сыпало не то дождём, не то снегом, не то тем и другим сразу, как будто природа никак не могла решить, что ей угоднее, и на всякий случай выдавала и то и другое. Фонарь в руке Никодима чадил, мигал и бросал на могильные камни жёлтые пятна, в которых кресты то вытягивались, то приседали, как пьяные гости на поминках. Сам Никодим, отставной фельдфебель, человек широкой кости и неширокой фантазии, покойников не боялся: за двадцать лет службы на кладбище он убедился, что мёртвые — народ смирный, не воруют, не буянят и никогда не жалуются начальству. А вот начальство — другое дело. Начальство покойникам не чета: оно как раз и ворует, и буянит, и жалуется, и требует отчёта за всякую разрытую могилу, будто Никодим сам её рыл.

Поэтому, когда фонарь выхватил из темноты свежий холм могилы купца Сыча — того самого, которого хоронили третьего дня, — и Никодим увидел, что холм этот больше не холм, а развороченная куча земли, сердце у него ухнуло не от страха, а от предчувствия беды.

— Эт-та что ж такое, — сказал он фонарю, как говорят свидетелю, — эт-та что ж, выходит, опять эти... прости господи.

Он подошёл ближе. Земля была разрыта аккуратно, без лишней спешки: лопата ходила ровно, комья лежали с одной стороны, доски отвалены в сторону — не то что у лихорадочных воров, которые роют как кроты, куда попало. Кто-то копал на совесть, по-хозяйски, точно у себя в огороде.

Гроб был вскрыт.

Крышка стояла прислонённая к кресту, внутри, в сером ночном свете, белела подушка и смятый шёлк обивки. И не было в гробу того, что полагается лежать в гробу: покойника не было. Гроб был пуст.

Никодим перекрестился не глядя, сунул руку за пазуху за спичками, хотя спички ему были без надобности, и постоял так минуты две, решая, что хуже: доложить начальству про разрытую могилу или сделать вид, что ничего не видел, и всю жизнь ждать, что покойник сам придёт объясняться. Потом он вспомнил, что купец Сыч лежал не один — при нём, говорили, положили бриллиантовую булавку, вещицу ценой в пятнадцать тысяч, — и понял, что молчать нельзя: за пятнадцать тысяч начальство и его самого закопает, и ещё присыплет.

И Никодим, придерживая фонарь, зашагал к сторожке — сообщать, что на вверенном ему участке произошло событие, какого за двадцать лет не бывало: у него украли покойника.

Или, подумал он, уже у самой двери, покойник ушёл сам. Что в ноябре, при такой погоде, пожалуй, даже понятнее: в такую ночь и живому-то из дому выходить неохота, а уж мёртвому — и подавно.

Глава первая,

в которой страховой агент приносит полис, а полис приносит беду

Утром девятого ноября ателье «Светопись Вересова» пребывало в состоянии обычного утреннего переполоха, то есть в полном порядке, который Макарка изо всех сил изображал.

— Барин, — говорил Макар, протирая кассету тряпицей и при этом глядя на неё с таким подозрением, будто кассета собиралась его обмануть, — а вы знаете, что покойники, ежели их снимать, выходят лучше?

Вересов, сидевший у окна с лупой над визитной карточкой, не поднял головы.

— Откуда ж мне знать, Макар, — отозвался он, — я покойников не снимал. Пока что.

— А я знаю. Мне вчера на Сытном один человек сказывал. Говорит, покойник — самый спокойный клиент: не моргает, не вертится, выдержку хоть час держи. И ежели его снять как следует, он выходит правдивее живого, потому как живой на стекле всё одно притворяется, а мёртвому притворяться уже без надобности.

Вересов отложил лупу.

— Это, Макар, называется посмертная съёмка, — наставительно произнёс он. — Занятие почтенное, между прочим. Иной раз только так и остаётся у матери карточка дитяти, которого бог прибрал. Ты бы поменьше слушал Сытный рынок, а побольше — хозяина.

— Так я и слушаю, — обиделся Макар. — Я к тому и веду, что у вас, барин, талант к мертвецам. Раз вы на прошлой неделе живую покойницу на снимке нашли, стало быть, и мёртвого живого сыщете. Это ж одна наука, только задом наперёд.

Вересов усмехнулся. Логика у Макара была, как всегда, кривая, но не без основания: после дела Полуяновых на ателье и впрямь стали смотреть как на место, где проявляется то, чего не было. Славы своей Вересов не искал, но клиенты шли, и в хозяйственной книге под номером сорок семь стояла приписка, которую он сам сделал накануне: «Пластина с двумя лицами. Светопись не лжёт».

Не успел Вересов договорить, как в приёмную вплыл первый утренний заказчик — коллежский асессор в отставке, господин с бакенбардами, уложенными как два начищенных сапога, и с тем особенным выражением лица, какое бывает у людей, пришедших сниматься впервые и уже заранее недовольных результатом.

— Мне, милостивый государь, карточку, — объявил он, боязливо косясь на камеру, стоявшую в углу павильона, как косятся на заведённый пистолет. — Только, прошу заметить, без всякого колдовства. Наслышан я, что ваша машина, извините, души похищает.

— Не похищает, — успокоил его Вересов. — Всего лишь берёт взаймы на несколько секунд. И отдаёт с процентами: на стекле выйдет ваше лицо, а не душа. Душу, сударь, светопись покамест снимать не обучена — для этого, извините, есть исповедь.

Заказчик подозрительно покосился на Вересова, потом на Макара, который уже нырнул под чёрное покрывало камеры и оттуда, как из-за ширмы, таращил на гостя весёлые глаза.

— А отчего он у вас там прячется? — шёпотом спросил асессор. — Или это и есть... колдовство?

— Это, сударь, называется «фокусировка», — серьёзно ответил Вересов. — Макар, вылезай, напугал клиента.

Макар вынырнул из-под плата с видом фокусника, у которого не получился фокус.

— Я, барин, не нарочно, — отозвался он, отряхиваясь. — Просто у господина бакенбарды — загляденье. Я думал, может, с такого ракурса они лучше выйдут. Как два сапога, ей-богу. Только сапоги-то не начищенные.

— Молчи, — велел Вересов, едва сдерживая смех, и повёл асессора в павильон.

Снимал он его долго и терпеливо, уговаривая не моргать и не цепляться за подлокотники с видом человека, которого вот-вот казнят, — и, как всегда в таких случаях, вышел у ассессора на карточке человек куда добрее и растеряннее, чем тот полагал себя в жизни. Вересов давно заметил это свойство светописи: она снимает с человека всё напускное, оставляя одну суть, и суть эта у большинства людей оказывается куда приличнее, чем они сами о себе думают.

Когда довольный ассессор, расплатившись и бормоча про «однако ж не похитила», укатил, Макар долго смотрел ему вслед, а потом изрёк:

— Барин, а ведь у него душа-то, видать, добрая. Только бакенбарды злые.

— У всякого, Макар, своя светопись, — отозвался Вересов, убирая кассету. — Один выходит на стекле добрее жизни, другой — злее. И никто, заметь, не выходит таким, каким сам себя мнит. В этом, брат, и состоит всё наше ремесло: проявлять не то, что человек показывает, а то, что у него за этим.

После ухода ассессора Вересов присел к конторке и разобрал утреннюю почту — занятие, которое он с некоторых пор исполнял с опаской, как разбирают корзину, в которой может оказаться что угодно. Почты нынче приходило вдвое против прежнего: после дела Полуяновых ателье «Светопись Вересова» значилось в списке петербургских достопримечательностей, и писали ему все — от благодарных вдов до сумасшедших, требовавших снять «ихнего домового, который безобразничает по ночам».

Первым из конверта выпал газетный листок, заложенный каким-то доброжелателем. «Петербургская сторона в недоумении, — писали в заметке, — ибо с некоторых пор на Аптекарском острове проживает фотограф, который находит на стекле то, чего не было в павильоне, а в гробах — то, чего не положили при погребении». Далее доброжелатель, не стеснясь, приписывал Вересову «сношения с потусторонним», что было и лестно, и обидно, и совершенно бесполезно для торговли.

— Ишь, барин, — хмыкнул Макар, заглядывая через плечо, — вы у них, почитай, как колдун. Теперь к нам, небось, одни покойники и записываться станут. Надо бы над дверью вывеску сменить: «Съёмка живых и явление мёртвых».

— Мёртвых, Макар, снимать — ремесло почтенное, — отозвался Вересов, откладывая газету, — но кормиться с него не след. Слава, она как двойная экспозиция: пока заказчики глядят на одно лицо, другое, глядишь, уже уходит из кадра. Так что ты вывеску не трогай, а лучше подай-ка мне хозяйственную книгу. Проверим, не растеряли ли мы с тобой за всеми этими покойниками обыкновенных живых заказчиков.

Хозяйственная книга, толстая, в коленкоровом переплёте, была у Вересова тем же, чем у иного купца — амбарная: всё в ней было записано, всё учтено, и под номером сорок семь, сразу под припиской «Пластина с двумя лицами. Светопись не лжёт», шли столбиком заказы — визитные карточки, семейные портреты, виды для альбомов. Живые, слава богу, покамест преобладали.

— Ну вот, — подытожил Вересов, захлопывая книгу, — живы. А теперь, Макар, приberi павильон: у меня с утра предчувствие, что нынче к нам придёт не заказчик, а дело. Такие дела, брат, звонят в колокольчик по-особому: не как покупатель, а как человек, у которого за душой — чужое.

Не успел он договорить, как колокольчик звякнул ещё раз — на этот раз робко, вполголоса, как звякает он, когда входит человек, заранее просящий прощения. Вошла дама в глубоком трауре, с лицом, утопленным в чёрный креп, и с ридикюлем, который она держала перед собой, как держат свечу.

— Господин фотограф, — начала она тихо, едва переступив порог, — мне вас рекомендовали... как человека, который... который не боится.

— Чего именно, сударыня? — вежливо спросил Вересов, хотя уже по крепу и по ридикюлю догадался, о чём пойдёт речь.

— Покойников, — выдохнула дама и перекрестилась. — Мне надобно снять... сыночка моего. Он у меня вчерась преставился. Я хочу, чтоб карточка на память осталась. А здешние, — она всхлипнула, — здешние фотографии отказываются. Говорят: «не берём таких». А вы, сказывают, берёте всё.

Вересов помолчал, потом мягко взял даму за руку и усадил.

— Беру, — мягко ответил он. — Сядьте, сударыня, отдышитесь. И скажите мне, где нынче покойный... где сынок ваш нынче находится.

— Дома, — прошептала дама. — В зале, на столе. Обмыли, прибрали. Ждёт.

— Вот и славно, — кивнул Вересов. — Я приеду. Сниму при дневном свете, тихо, как он лежит. Выйдет карточка, за которую не стыдно. — Он помолчал и прибавил, глядя ей в глаза: — И не бойтесь, сударыня. Посмертный снимок — дело богоугодное. Светопись, она ведь затем и дана человеку, чтобы удерживать то, что уходит. Живых — для живых. А тех, кого уже нет, — для тех, кто остался.

Дама заплакала — тихо, благодарно, — и Макар, замерший у камеры, потихоньку смахнул что-то с глаза, а потом, чтобы скрыть это, принялся яростно протирать объектив, который и так был чист, как слеза.

— Барин, — заговорил он, когда дама ушла, оставив адрес и, к удивлению Вересова, половину платы вперёд, — а правду говорят, что покойников снимать — это вам зачтётся? Ну, на том свете?

— Не знаю, как на том, — усмехнулся Вересов, — а на этом зачтётся наверняка. Люди, Макар, за всё платят, но дороже всего — за память. Сними живого — он тебе заплатит и забудет. А сними покойного — и мать твоя карточка до гроба будет стоять в красном углу, и тебя, глядишь, добрым словом помянут. — Он задумался. — А впрочем, не ради этого. Ради того, что иначе нельзя. Светопись, брат, не лжёт, но и не отворачивается. А мы с тобой — её слуги.

Макар, поражённый этой речью, долго молчал, а потом, как бы про себя, проговорил:

— Стало быть, и наш покойник, с Волкова, — он тоже, выходит, для кого-то память. Только для кого — вот вопрос.

— Вот именно, — кивнул Вересов. — Для кого-то память, для кого-то страх, для кого-то убыток. Покойник, Макар, — он как карточка: каждый смотрит и видит своё. Один — сына, другой — должника, третий — спасение. А что на ней на самом деле, — он пожал плечами, — то и предстоит нам с тобой выяснить.

И, как по заказу, колокольчик над дверью звякнул коротко и как-то по-деловому, без лишнего, и в приёмную вошёл человек в дорожной шинели, с лицом, похожим на стёртый дагеротип, и с кожаным портфелем с медными углами — из тех, что носят люди, которым доверено чужое.

Вересов его сразу узнал: вчера под вечер этот человек уже заходил, мялся, говорил что-то про покойника, который пропал из собственного гроба, и ушёл, пообещав вернуться с бумагами. Теперь, судя по портфелю, бумаги прибыли.

— Господин Вересов? — спросил посетитель, снимая мокрую от снега фуражку. — Корней Аполлонович Вешняков, агент страхового общества «Россия». Мы с вами вчера имели беседу. Я, как обещал, принёс-с.

Он положил портфель на стол — на то самое место, где у Вересова обыкновенно лежали свежие отпечатки, — щёлкнул замками и принялся выкладывать бумаги с той бережностью, с какой выкладывают не бумаги даже, а чужие нервы.

— Полис, — начал он, — по коему застрахован предмет. Опись вещей, положенных во гроб. Заявление вдовы. И, — он понизил голос и оглянулся на дверь, — смета расходов, которую моё начальство желает видеть прежде, чем платить пятнадцать тысяч. Ибо платить, сударь, оно не желает вовсе.

Вересов взял полис, пробежал глазами. Всё было, как вчера: купец второй гильдии Мирон Прохорович Сыч, галантерейная и ювелирная торговля на Гороховой, пятидесяти восьми лет... нет, поправил он себя, шестидесяти одного. Хоронили на прошлой неделе на Волковом, а наемные могилу нашли разрытой, гроб вскрытым, а гроб пустым. Нет покойника, и нет того, что при нём положили. А при нём, сударь, лежала вещица, которой цена — пятнадцать тысяч: бриллиантовая булавка, застрахованная у них в обществе.

Вересов отложил полис и развернул опись — лист, разлинованный по графам, где против каждой вещи стояла оценка: икона, шелковая подушка, облачение покойного, а внизу, жирно и дважды подчёркнутая, — «булавка бриллиантовая, аглицкой работы, в три карата, — пятнадцать тысяч рублей». На эту двойную черту Вересов и задержал взгляд, как задерживают взгляд на человеке, который в толпе отчего-то смотрит на тебя.

— А позвольте полюбопытствовать, — спросил он, не поднимая глаз, — кто составлял опись? И кто при том был, когда булавку клали во гроб?

Вешняков замялся, потёр переносицу, и лицо его, и без того похожее на стёртый дагеротип, стало вовсе неразборчивым.

— Опись составлял я, — признался он, — со слов вдовы. А клала булавку... сама Пелагея Игнатьевна. При свидетелях, как водится. — Он снова замялся. — Свидетели, правда, из прислуги, и зовут их, сколько я ни спрашивал, всякий раз по-разному. Но это уж, сударь, не моя забота: моя забота — чтобы общество не выплатило вдове пятнадцать тысяч за бриллиант, которого, может статься, и в гробу-то не было.

— А может статься, и в гробу-то никого не было, — тихо прибавил Вересов, и Вешняков, не расслышав или сделав вид, что не расслышал, торопливо зашуршал бумагами.

Вересов же, наблюдая, как у страхового агента дрожат руки над портфелем, подумал, что в этом деле всё — как на заведомо дурном негативе: чем дольше смотришь, тем больше проступает того, чего не ждал. Опись со свидетелями «всякий раз по-разному», полис на бриллиант, положенный в гроб, вдова, которая «сама клала», — и всё это накрыто, как саваном, аккуратным словом «пропажа». А пропажа, знал Вересов, бывает двух сортов: та, что случается, и та, что устраивается. И от того, к какому сорту относится эта, зависело всё остальное.

— Корней Аполлонович, — проговорил он, откладывая полис и глядя на Вешнякова в упор, — а вы мне вот что скажите, да только честно, как перед... ну, хотя бы как перед своим правлением. Страховое общество — оно ведь не с бухты-барахты нанимает фотографа разыскивать бриллиант. Для бриллианта у вас есть агенты, у полиции — сыск. А вы пришли ко мне, к человеку, который снимает лица. Стало быть, надобно вам от меня не лицо вора, а что-то другое. Что?

Вешняков открыл рот, закрыл, поправил на переносице несуществующие очки и, собравшись с духом, проговорил, понизив голос до шёпота:

— Вы, сударь, проницательный человек. Правление наше полагает... — он оглянулся на дверь, за которой в приёмной никого не было, но осторожность, как известно, не знает выходов, — правление наше полагает, что смерть купца Сыча может оказаться... э-э... не совсем смертью. Мы в таких делах, признаться, видали всякое. Страховали мы, почитай, и живых, и мёртвых, и тех, кто между ними. И вот что я вам скажу: когда застрахованный предмет пропадает вместе с покойником из могилы — это уж, извините, не кража, это представление. А представления, сударь, ставят для того, чтобы кто-то за них заплатил.

— И платить, выходит, придётся вам, — кивнул Вересов.

— Или вдове, — не удержался Вешняков и тут же испуганно прикрыл рот, как человек, сказавший лишнее.

Вересов усмехнулся. Картина прояснялась, как проясняется лицо на стекле: общество не хочет платить вдове, вдове не терпится получить, а между ними, в гробу, которого, может статься, и не было, лежит — или не лежит — покойник с бриллиантом. И вся эта механика,

при всей своей кладбищенской мрачности, была устроена, как хороший театр: с занавесом, с гримом и с кассой.

— Хорошо, — решил он наконец. — Я возьмусь. Но с условием, Корней Аполлонович: я работаю так, как работаю, — смотрю сам, спрашиваю сам и выводы делаю сам. Ежели ваш покойник окажется жив, я вам его покажу — на стекле, как и положено моему ремеслу. А ежели окажется мёртв по-настоящему — вы уж не обессудьте: мёртвого я вам воскрешать не обучен. Воскрешают, сударь, в другом ведомстве.

Вешняков закивал так рьяно, что его стёртое лицо на миг проступило, как проступает на дагеротипе давняя, полузабытая черта.

— Позвольте, — остановил его Вересов, — я человек простой, фотографический. Объясните мне, как вы страхуете бриллиант, который кладут в гроб. У вас что, покойники по контракту?

Вешняков вздохнул, как человек, который объясняет одно и то же уже не первый раз и всякий раз без удовольствия.

— У нас, сударь, страхуют всё, что имеет цену и что можно потерять. Булавка сия перешла к господину Сычу по наследству от тётки и была застрахована ещё при жизни покойного, на случай кражи и пропажи. А пропажа вышла, как видите, посмертная. Вдова, Пелагея Игнатьевна, в истерике, наследники грозятся, начальство моё рвёт и мечет. А полиция разводит руками: кому, говорят, охота в ноябре по кладбищам лазить?

— А мне, выходит, охота? — усмехнулся Вересов.

— Говорят, вы умеете находить то, чего никто не видит, — произнёс Вешняков, и в голосе его не было лести, одна надежда. — И, что важнее, умеете смотреть так, что мёртвые у вас на снимках выходят правдивее живых. А нам как раз и надобно, чтобы кто-нибудь на этого покойника посмотрел — внимательно. Может, тогда и булавка найдётся. А может, и сам Сыч.

Макар, всё это время стоявший за притолокой с горящими глазами, не выдержал и высунулся:

— А ежели покойник найдётся да окажется с подковками на каблуках, за подковки отдельная такса!

Вешняков вздрогнул, увидев Макара, но быстро оправился: за вчерашний визит он, видно, уже понял, что в этом ателье всё устроено не совсем как у людей.

Вересов тем временем думал. Дело было дурное со всех сторон: ноябрь, кладбище, покойник, страховое общество, которое не хочет платить, и вдова, которая не хочет ждать. Но было в этом деле и то, что заставляло его щуриться так, как он щурился, разглядывая сомнительный негатив: слишком уж гладко всё сходилась, слишком уж удобно покойнику было исчезнуть именно с бриллиантом. Так удобно, что хотелось спросить: а не сам ли он устроил себе эти удобства?

— Уговор, сударь, — проговорил Вересов наконец. — Покойников, ежели они воскреснут, снимаю при полном свете. И за двойную цену. А главное — работать буду, как работаю: без полиции в спину, но и без полиции за спиной. Ежели найду вора — вор ваш. Ежели найду что похуже вора — тогда уж не обессудьте.

Вешняков торопливо закивал, забормотал что-то про аванс, про расходы и про «дело, не терпящее отлагательств», сунул Вересову карточку и попятился к двери.

Когда колокольчик звякнул ему вслед, Макар уже натягивал тулупчик.

— Ну что, барин, — бодро начал он, хотя зубы у него слегка постукивали, — на кладбище?

— На кладбище, — кивнул Вересов. — Только достань-ка из шкафа камеру: покойника, который гуляет по собственному кладбищу, надобно будет снять. Уж больно мне любопытно, каким он выйдет на стекле.

Макар выволок камеру, крякнул под её тяжестью, но не зароптал: по части таскания камеры он давно знал своё место в этом ателье — сразу за хозяином и чуть впереди всех неприятностей.

Глава вторая,

в которой могилу осматривают с лупой, а покойника ищут с фонарём

Извозчик, которому Вересов назвал Волково кладбище, повернулся на козлах всем корпусом и оглядел седоков с той особенной внимательностью, с какой оглядывают людей, едущих в такое место не в похоронной процессии, а просто так, по собственной охоте.

— На Волково? — переспросил он. — Так ведь нынче, барин, не родительская суббота. Кого ж вы там, прости господи, проведать собрались?

— Никого, — отозвался Вересов, усаживаясь поглубже и запахивая шинель. — Едем наниматься. Говорят, покойники теперь — самый спокойный клиент.

Извозчик перекрестился, но кнута не опустил: за проезд на кладбище полагалось брать вдвое, а то и втрое, а деньги, как известно, не пахнут даже ладаном.

Ехали долго. Город за заставой стал редеть, растворяться: сперва пропали вывески, потом фонари, потом и сама мостовая сменилась разбитым трактом, по которому сани, ещё не дождавшиеся настоящего снега, ползли по грязи и лужам, как барка по мели. С неба сыпало тем самым — не то дождём, не то снегом, — и Макар, сидевший рядом с Вересовым и зябко поднявший воротник тулупчика, глядел на серую муть за пологом и думал вслух.

— Вот ведь что удивительно, барин, — заговорил он. — Живой человек в такое место ни за какие деньги не поедет, а мёртвый — задаром, и ещё везут его туда с музыкой. Выходит, мёртвому на этом свете почётнее.

— Ты бы, Макар, поменьше про почёт, — отозвался Вересов. — Покойнику музыка без надобности, это живым она надобна, чтобы не так страшно было. Всякая пышность на этом свете, заметь, устраивается не для того, кому она вроде бы положена, а для тех, кто смотрит.

— Так и бриллиантовую булавку, стало быть, — сообразил Макар, — положили в гроб не покойнику на радость, а чтоб людям показать?

— Вот именно, — кивнул Вересов и поглядел на Макара с уважением. — И это, брат, первое, о чём я хочу спросить у вдовы.

— А второе, — продолжал Макар, разгорячившись от собственной сметливости, — кто ж, по-вашему, разрыл-то? Вор? Гробокопатель? Или, может, сам покойник ночью вылез да землю за собой прибрал?

— Покойники, Макар, за собой не прибирают, — усмехнулся Вересов. — Это ты верно про них подметил: они всё норовят после себя беспорядок оставить. А вот кто могилу разрыл — это мы сейчас и поглядим. По следу, брат, по следу. Человек, который ночью копает чужую могилу, — он, как бы ни осторожничал, обязательно что-нибудь да оставит: след сапога, окурок, обломок лопаты, колею от возка. Земля, она ведь всё в себя принимает и всё на себе держит. Она, если хочешь знать, понатуральнее нашей светописи будет: что на неё ни ступи, всё отпечатается. Только смотреть надобно уметь.

— Так вы, барин, прямо как тот... — Макар замялся, подбирая слово, — как следопыт. Из тех, что по тайге дичь отслеживают.

— Вроде того, — кивнул Вересов. — Только дичь у меня нынче не таёжная, а кладбищенская, и ходит она не по снегу, а по чужим секретам. Ну да это уж дело привычное: мы с тобой, Макар, за последнее время кого только не отслеживали — и живых, и мёртвых, и тех, кто между ними затесался.

— А ежели, — Макар понизил голос до шёпота и оглянулся на извозчика, — ежели покойник-то и впрямь живой? Ну, не украли его, а он сам встал и ушёл? Вы в такое верите?

Вересов помолчал, следя, как за пологом саней проплывают серые заборы и покосившиеся склады предместья.

— В чудеса, Макар, я не верю, — отозвался он наконец. — В чудеса пусть попы верят, у них служба такая. А у меня служба — смотреть. И смотрел я уже на такие «чудеса», что потом оказывались самой простой механикой. Двойная экспозиция — вот тебе и призрак на снимке. Опиийная настойка — вот тебе и живой покойник. Всё, брат, на этом свете проявляется, всё до одного. Вопрос только в том, кто догадается поднести стекло к свету.

— И вы догадаетесь, — убеждённо сказал Макар. — Вы, барин, всё догадываетесь. На вас молиться надо, ей-богу.

— Не богохульствуй, — беззлобно отозвался Вересов. — И не льсти. Скажешь «всё догадывается» — а я потом, глядишь, и загоржусь, и начну не смотреть, а красоваться. А фотограф, который красуется, — это уже не фотограф, это заказчик собственного портрета. Нет уж, лучше я буду, как был: дотошный и скептический. Скептик, Макар, тем и хорош, что его трудно удивить, зато легко убедить. Потому как он не верит на слово, а верит на свет.

Извозчик, слышавший, о чём толкуют седоки, ещё раз перекрестился и прибавил лошади ходу: везти двоих, рассуждающих о живых покойниках, ему было не с руки, и он торопился донести их до кладбища, чтобы там, на месте, и оставить их вместе со всеми их речами.

У ворот кладбища их уже ждали. Точнее, не их, а свою собственную беду: пристав Петербургской части Аркадий Дормидонтович Пузырёв стоял у сторожки в расстёгнутой шинели, хотя было зябко, и вид имел такой, будто судьба сыграла с ним скверную шутку, отобрав у него самовар. Рядом мёрз городской, держа под мышкой книгу, в которую заносил происшествия, а у самой калитки, прижимая к груди фонарь, топтался сторож Никодим.

— А, господин фотограф, — заговорил Пузырёв, увидев Вересова, и в голосе его прозвучало всё сразу: и то, что он Вересову после дела Полуяновых кое-чем обязан, и то, что быть обязанным он не любит, и то, что кладбище в ноябре — не то место, где приставу хотелось бы начинать службу. — И вас сюда занесло. Стало быть, страховое общество и впрямь наняло вас искать покойника. Ну-ну. А я, признаться, надеялся, что вы ограничитесь булавкой.

— Я и начну с булавки, Аркадий Дормидонтович, — кивнул Вересов. — Только булавка, сами понимаете, лежала не в несгораемом шкафу, а в гробу. А гроб — вот он.

— Гроб-то вот он, — буркнул Пузырёв. — А покойника нет. И что прикажете заносить в протокол? «Пропажа гражданина»? Так граждане, сударь, не пропадают из-под земли. Граждане пропадают из дому. А из могилы — это уже не пропажа, это, я вам доложу, безобразие, и отвечать за него придётся мне.

Он махнул рукой Никодиму, и тот, поняв приказ, засеменил впереди, оглядываясь на каждом шагу, точно боялся, что гости отстанут или, того хуже, разбегутся.

Шли по мокрой аллее между оградками. Кладбище в ноябрьском тумане стояло тихое и просторное, как город, из которого разом уехали все жители; кресты и камни выплывали из серой пелены один за другим, и у Макара от этой череды делалось такое лицо, какое бывает у человека, который твёрдо решил не бояться и покамест проигрывает.

Впереди, придерживая фонарь и оглядываясь, семенил Никодим, и по дороге, не выдержав молчания, заговорил — тем торопливым шёпотом, каким говорят люди, отвыкшие от живых собеседников:

— Я, барин, двадцать лет на этом кладбище. И за двадцать лет, извольте верить, у меня тут всё было: и кражи, и разрытия, и драки на поминках. А вот чтоб покойник пропал — это впервой. Воры, они что? Они с покойника крест снимут, саван снимут, кольцо с пальца стащат — и ходу. А чтоб самого покойника унесли... — он перекрестился на ходу. — Это уж не воровство. Это, прости господи, знамение.

— Знамение, — повторил Вересов, идя следом. — А ты, Никодим, сам-то как думаешь: унесли его или сам ушёл?

Сторож остановился так резко, что фонарь качнулся, и жёлтый круг света заплесал по мокрой земле.

— Барин, — проговорил он, и в голосе его дрогнула обида, — вы уж не смейтесь. Я человек простой, но и я понимаю: ежели гроб вскрыли, а покойника нет, а кисея сложена уголком — так не воры это. Вор кисею не складывает, ему не до того. И саван бы сдёрнул, и подушку бы вспорол — он ведь знает, что в подушку иной раз и деньги зашивают. А тут — всё чинно, всё на месте, будто и не трогали. Как на похоронах у богатых: и в гробу-то, почитай, никого, а всё по чину. — Он помолчал и прибавил тихо: — Я ещё в день похорон, когда гроб-то несли, подумал: лёгкий гроб. Словно и не с покойником. Да отогнал мысль — куда мне, сторожу, о богатых купцах думать. А оно вон как вышло.

Вересов переглянулся с Макаром: слова сторожа ложились к делу, как ложится последний кусок в пасьянс. Лёгкий гроб. Кисея уголком. Всё чинно, всё на месте. И некому было, кроме сторожа, это заметить, потому как на чужие похороны люди смотрят, а веса чужого гроба не ощущают.

— И много ли народу на тех похоронах было? — спросил Вересов.

— А кто ж его считал, — пожал плечами Никодим. — Вдова, приказчик ихний, с лица зелёный, двое свидетелей из причта, да гробовщики. Доктор ещё приезжал, всё суетился, гроб поправлял, будто не с руки ему что-то. А потом, — сторож снова понизил голос, — потом, как стали заколачивать, доктор-то и говорит: «Пора, дескать, отдать покойнику последний долг». И сам, своими руками, крышку придержал, пока гвозди забивали. Я ещё тогда подумал: ишь, какой усердный, будто хоронит, чтоб не встал.

— Чтоб не встал, — медленно повторил Вересов, и это «чтоб не встал» отозвалось в нём, как эхо чужого страха. — А приказчик? Грач? Он к гробу подходил?

— Подходил, — кивнул Никодим. — Только его доктор оттеснил. Дескать, не надобно посторонним к покойнику, у него, дескать, лицо тронутое. Грач так и не попрощался. Стоял в стороне, шапку мял. — Сторож покачал головой. — Вот ведь как бывает: двадцать лет человек при хозяине, а в последний час его, как чужого, от гроба отогнали. Обидно, поди.

Вересов ничего не ответил, но запомнил и это: доктор, который не подпускает приказчика к гробу, — это уже не усердие, это режиссура. Кто-то очень не хотел, чтобы кто-нибудь ещё заглянул в гроб и увидел, что там, а чего там нет.

Могила купца Сыча оказалась в дальней части, у самой кирпичной ограды, там, где хоронили людей с достатком, но без родовых склепов: холм свежей земли, ещё не осевшей, деревянный крест с латунной табличкой и — вокруг — развороченная, как после взрыва, но удивительно аккуратная куча.

Вересов остановился и долго смотрел. Потом обошёл могилу кругом, присел на корточки у края ямы и поманил Макара.

— Смотри и учись, — проговорил он негромко. — Вот это — работа.

Земля и впрямь была вынута на совесть. Комья лежали с одной стороны, ровным валом, точно их укладывали по линейке; доски, которыми был обшит гроб, стояли отдельно, прислонённые к кресту, и на них не было ни сколов, ни зазубрин от лома. Яма зияла открытая, на дне её темнел гроб, и крышка его — целая, с вынутыми, а не выдранными гвоздями — была аккуратно поставлена на попа.

— Вор роет как крот, — объяснил Вересов, — торопится, ломает, комья кидает куда попало. Этот копал, как могильщик на своём участке: спешить ему было некуда. А вор, которому некуда спешить, — это уже не вор.

Пузырёв, заглянув в яму через плечо Вересова, крикнул.

— Может, могильщик и есть, — предположил он с надеждой. — Свои же и разрыли. Нынче народ такой: что закопает, то и выкопает, лишь бы платили.

— Могильщики, Аркадий Дормидонтович, могил не разрывают, — возразил Вересов. — Им за рытьё платят один раз, а за разрытие — увольнением. Нет, тут кто-то другой. Кто-то, кто умеет обращаться с лопатой и не умеет торопиться.

— Стало быть, спускаться туда надобно? — спросил Пузырёв, с сомнением глядя в яму, откуда тянуло сырой землёй и чем-то ещё, чему пристав не хотел подыскивать название.

— Надобно, — кивнул Вересов и уже взялся за край ямы, но Макар вдруг вцепился ему в рукав.

— Барин, погодите! — зашептал он, и глаза у него сделались круглые. — А ну как он там? Ну, этот... покойник-то? Лежит на дне и ждёт, чтоб кого за ногу схватить? Мне на Сытном один человек сказывал: ежели покойника в гробу потревожить, он спросонья-то и не разберёт, кто его будит, — и цап!

— Какой же он спросонья, — усмехнулся Вересов, — ежели его, по всем приметам, и в гробу-то не было. Ты, Макар, боишься не того. Пустого гроба бояться — всё равно что пустой кассеты: темно, а никого нет. Вот кабы в нём кто лежал — тогда и глядел бы в оба. А так, — он прыгнул в яму и крикнул снизу, — снизу видно лучше, и, доложу я вам, господа, пустота тут такая, что хоть портрет снимай.

Пузырёв, наблюдая, как Вересов приседает у гроба, покачал головой и, обращаясь не то к Макару, не то к Никодиму, не то к самому себе, пробормотал:

— Вот ведь до чего служба доводит: пристав Петербургской части — и при пустом гробе, в ноябре, по доброй воле. А всё он, фотограф. С тех пор как он у нас в части завёлся, у меня что ни дело — то покойник, то могила. Раньше, бывало, кража подноса — и рад. А нынче, — он махнул рукой, — хоть сам в гроб ложись, всё спокойнее будет.

— Так и ложитесь, ваше благородие, — не удержался Макар, — место, вон, свободное. Только за ноги не хватайте.

— Цыц! — прикрикнул Пузырёв, но без злости, и оба они, пристав и мальчишка, разом усталились в яму, где Вересов, не обращая на них внимания, уже разглядывал гроб так, как разглядывал бы подозрительный негатив.

Он спустился в яму — Пузырёв охнул, Макар перекрестился, а Никодим попятился, — присел у гроба и стал разглядывать его так, как разглядывал бы подозрительный негатив. Гроб был дубовый, дорогой, с шёлковой обивкой и латунными ручками, нетронутыми. И в этом было самое странное.

— Поглядите, — позвал Вересов. — Если из гроба тащат покойника, что остаётся? Сбитая подушка, задранный шёлк, следы на досках: тащили ведь за плечи, за ноги, как придётся. А тут — смотрите. Подушка лежит ровно, как будто на неё никто и не ложился. Шёлк разглажен, ни морщинки. Даже кисея на лице... — он помолчал, подняв глаза на Пузырёва, — кисея, которой обыкновенно накрывают лицо, аккуратно сложена в уголке. Понимаете, что это значит?

— Что покойник был вежливый, — буркнул Пузырёв.

— Что покойника из этого гроба не вытаскивали, — закончил Вересов. — Потому что его туда, Аркадий Дормидонтович, похоже, и не клали. Или клали, а потом вынули — и прибрали за собой так, чтобы никто не догадался. Вору, который пришёл за бриллиантом, недосуг складывать кисею уголком. А тому, кому нужно, чтобы все думали, будто покойник лежит в гробу, — самое время.

Наверху повисла тишина, какая бывает на кладбище даже без всяких тайн. Потом Макар, не утерпев, спросил:

— А булавка? Булавку-то он взял или нет?

— А вот это, — отозвался Вересов, выбираясь из ямы и отряхивая колени, — самый интересный вопрос. Ежели гроб заколотили пустым, то и булавки в нём не было. А ежели булавки не было, то вдова нам скажет, что положила её мужу на грудь, — и соврёт. Или скажет правду, и тогда нам придётся искать того, кто знал, что гроб пуст, и всё равно полез проверять.

Он обвёл глазами могилу, ища, за что зацепиться взглядом, — и зацепился: у самого края ямы, на вязкой глине, отчётливо, как на визитной карточке, отпечатался след сапога. Глубокий, свежий, с ровным рантом и острым носком — новые сапоги, дорогие, не мужицкие.

Макар мигом очутился рядом и, опустившись на корточки, с надеждой уставился на отпечаток.

— Без подковки, — разочарованно объявил он. — А я уж думал, ежели с подковкой, так мы его мигом сыщем, как того, в прошлый раз.

— У этого покойника, Макар, видать, свои сапоги, — усмехнулся Вересов. — И учти: подковки нынче не носят, нынче носят штиблеты. Но след всё равно человек оставил. Новые сапоги, глина свежая — выходит, приходил этой ночью, а не прежде. И приходил, — он прищурился, прикидывая расстояние, — один. Вон, смотри: других следов нет, а землю перетаскать и гроб поднять в одиночку можно, ежели не спешить.

— Один человек разрыл могилу? — не поверил Пузырёв. — Да там земли на телегу!

— А телега, Аркадий Дормидонтович, возможно, и была, — вставил Никодим, переминаясь с ноги на ногу и радуясь, что и его, наконец, спросили не для протокола. — Я той ночью у северных ворот возок видал. Крытый. Думал, извозчик с возом заплутал, окликнул — не отозвался. А потом гляжу, возок-то и нет его. Я ещё подумал: ишь, привёз кого-то да увёз.

— Привёз или увёз? — быстро переспросил Вересов.

— А кто ж его знает, — развёл руками Никодим. — Темно было. Фонарь у меня, барин, от сырости чадил, как душа грешная. Одно скажу: стоял возок, пока я обходил, а как повернул обратно — и след простыл. Только колея на тракте осталась.

Вересов переглянулся с Макаром. Крытый возок, один человек, аккуратная работа — всё это складывалось в картинку, которой он пока не мог проявить, но уже чувствовал её на стекле.

— Ну-с, господин фотограф, — заговорил Пузырёв, которому кладбищенский холод пробрался, кажется, до самой души, — что же мы имеем? Имеем разрытую могилу, пустой гроб и вдову, которая требует пятнадцать тысяч. Я полагаю, воры. Полиция полагает, воры. Все полагают воры. А вы, сударь, изволите намекать, что покойника и не было.

— Я не намекаю, Аркадий Дормидонтович, — возразил Вересов. — Я смотрю. А светопись, Аркадий Дормидонтович, не лжёт: она только проявляет то, что лежит на стекле. Вот и тут — всё уже снято, осталось проявить. И ежели вы мне скажете, кто засвидетельствовал смерть купца Сыча, я, пожалуй, начну с этого.

Пузырёв поскучнел ещё больше, что при его дородности было почти невозможно.

— Засвидетельствовал, — нехотя проговорил он, — доктор Фролов. Эраст Пантелеймонович. Частный врач, с Гороховой. Покойник, говорят, скончался от апоплексического удара, ночью, тихо. Родня от вскрытия отказалась — что, мол, терзать христианскую душу. Оно и понятно: купечество не любит, когда его режут. Им и живых-то резать боязно.

— Апоплексический удар, — повторил Вересов задумчиво, и в этом слове ему послышалось что-то слишком уж гладкое, как в до блеска начищенной пряжке. — Ну что ж. С удара так с удара. Только я, с вашего позволения, съезжу в одно место, где меня когда-то учили отличать мёртвого от живого. Пора, видать, вспомнить науку.

— Это в какое ж такое место? — насторожился Пузырёв.

— В анатомический театр, Аркадий Дормидонтович, — ответил Вересов, и Макар, услышав это, тихонько икнул. — Гробокопатели, изволите знать, народ честный: у них есть своя наука и свои правила. И ежели кто в городе знает, почему у покойника не было покоя, — так это они.

Он кивнул Никодиму, сунул ему двугривенный — сторож принял его так, будто это был не двугривенный, а отпущение грехов, — и зашагал к воротам, оставив Пузырёва стоять над разрытой могилой в полной уверенности, что петербургская полиция ещё не знает худшей беды, чем фотограф, который умеет смотреть.

От кладбища ехали втроём, в одних санях: Вересов с Макаром и, по причине заложенного носа, пристав Пузырёв, который решил, что уж если дело завелось на его территории, то и

наблюдать за ним надобно лично, а заодно и согреться в дороге. Сани ползли по разбитому тракту, полозья визжали по лужам, и Пузырёв, кутаясь в шинель, философствовал.

— Я, господа, в смерть не верю, — заявил он ни с того ни с сего, и Макар, дремавший было, вскинулся.

— Это как же, ваше благородие? — удивился он. — А покойники-то?

— Покойники есть, — важно согласился Пузырёв. — А смерти нет. Потому как настоящий покойник — он от чего? От того, что сердце встало. А сердце, я вам доложу, у всякого встаёт по-своему: у одного от горя, у другого от радости, у третьего, — он покосился на Вересова, — от фотографической кислоты, не при вас будь сказано. А бывает, и вовсе не встаёт, а так, притворяется. Вот вы мне скажите, господин фотограф, как человек учёный: можно ли живого от мёртвого отличить на глаз?

— Можно, — отозвался Вересов, не открывая глаз, потому что его укачало. — Мёртвый, Аркадий Дормидонтович, денег не просит и на службу не торопится. А живой — только и гляди, что выкинет.

— Хе, — хмыкнул Пузырёв, оценив шутку. — Ну, а ежели серьёзно? Ежели, скажем, лежит человек в гробу, и все думают — покойник, а он возьми да и дыши? Есть такая примета, чтоб сразу видеть?

— Есть, — ответил Вересов, и на этот раз открыл глаза. — Зеркальце к губам поднести. Запотело — жив, не запотело — извольте хоронить. Только в нашем с вами деле, Аркадий Дормидонтович, зеркальца под рукой не было, а был пустой гроб. А пустой гроб, заметьте, — это уже не примета, а целый протокол: он не дышит, зато говорит.

— Говорит-то говорит, — вздохнул Пузырёв, — да всё как-то не по-русски. «Меня, дескать, заколотили пустым». А кто заколотил? Где этот кто? Вот вы, фотограф, всё смотрите да приговариваете, а мне в протокол писать надо. Напишу я «гроб пуст» — начальство скажет: а покойник-то где? А я что им отвечу? Покойник, мол, гулять вышел? Так они меня самого... — он не договорил и только махнул рукой.

— А вы не пишите пока ничего, — посоветовал Вересов. — Дайте мне день. Пусть покойник ещё погуляет — он, я вижу, любит свежий воздух. А мы с вами покамест съездим к одному человеку, который мне в академии объяснил раз и навсегда, чем живой отличается от мёртвого. И ежели после этого разговора вы всё ещё будете сомневаться, что Сыч жив, — я, так и быть, поднесу к вашему носу зеркальце. Своё. Фотографическое.

Пузырёв покосился на него с тем выражением, с каким смотрят на человека, который шутит в неподобающем месте, но промолчал: от споров с Вересовым он давно отвык — себе дороже.

А за воротами, уже садясь в сани, Вересов вдруг остановился и оглянулся на кладбище, тонувшее в тумане, как негатив в проявителе.

— Знаешь, что меня смущает, Макар? — проговорил он. — Вор приходит ночью за бриллиантом и не торопится. Один. С возком. Копает как могильщик. И уходит, не взяв ничего, — потому что брат, выходит, было нечего. Ну не вор это. Это кто-то, кто пришёл не украсть, а убедиться.

— В чём убедиться-то, барин?

— Что в гробу пусто, — ответил Вересов, и впервые за утро в голосе его не было усмешки. — А ежели кому-то понадобилось ночью убеждаться, что купец Сыч не лежит в своём гробу, — выходит, у этого кого-то были причины считать, что купец Сыч жив. И вот это, брат, уже не пропажа. Это совсем другая история.

Глава третья,

в которой анатомический театр пахнет карболкой, а прошлое — гробокопателями

Анатомический театр Медико-хирургической академии стоял на Выборгской стороне, длинный, приземистый, с высокими полукруглыми окнами, из тех зданий, что снаружи молчат, а внутри говорят шёпотом. Вересов не был здесь пять лет, но запах узнал сразу, ещё с порога: карболка, спирт и тот особенный, ни с чем не сравнимый холодок, какой бывает только в домах, где живут не люди, а наука.

— Барин, — прошептал Макар, вжимая голову в плечи, — а это точно то самое место, где вы, значит, учились? Я думал, фотографию вы с детства.

— Фотографию я с детства и по сию пору, — отозвался Вересов. — А до неё была медицина. И в этом доме, Макар, меня учили главному: смотреть не туда, куда все, а туда, куда надо.

— И что ж, все эти, — Макар покосился на банки, стоявшие вдоль коридора, — тоже туда смотрели?

Банки и впрямь были те самые, из-за которых слабонервные первокурсники падали в обморок: в мутном спирту плавали всякие препараты, которым лучше было бы остаться при своих владельцах. Макар, разглядев в одной из банок что-то, отдалённо напоминающее ухо, отвёл глаза и перекрестился.

— Это не огурцы, — мстительно сказал он сам себе. — Это наука.

— Ты с банками не разговаривай, — посоветовал Вересов. — Они не отвечают.

— Зато смотрят, — буркнул Макар.

Дальше по коридору им попался студент — тощий, в застиранном халате и с таким выражением лица, какое бывает у людей, не спавших третью ночь кряду. Он вёз перед собой тележку, на которой, накрытая клеёнкой, лежала какая-то ноша, и клеёнка эта на ходу вздрагивала. Макар, завидев тележку, прижался к стене и проводил её взглядом, как провожают похоронную процессию.

— Где тут прозектора сыскать? — окликнул его Вересов.

— Пётр Аркадьевич? — студент мотнул головой в конец коридора. — В препараторской. Чай пьёт. Скажите ему, что я ампутировал, — он кивнул на тележку, — чтоб к трём был у стола.

— Скажу, — пообещал Вересов. — А много вас нынче, что он один с утра?

— Второй курс, — вздохнул студент, — практика. К пятнице — три вскрытия. А вы, сударь, к нам по какому делу? Уж не френолог ли? У нас в прошлом месяце один френолог заходил, всё черепа мерил да про характер предсказывал. Пётр Аркадьевич его так выпроводил, что он свой циркуль в дверях забыл.

— Я по мёртвому делу, — усмехнулся Вересов. — Только мой покойник, в отличие от ваших, ещё, кажется, не совсем лёг.

Студент посмотрел на него с уважением, как смотрят на человека, который шутит над вещами, над которыми второкурсники шутить ещё не научились, и покатил свою тележку дальше, а Макар, глядя ему вслед, тихонько перекрестился и пробормотал:

— Вот ведь учёба у людей: с утра чай, а к трём — ампутация. И это у них, барин, называется наукой.

— Наука, Макар, это и есть умение смотреть туда, куда другим глядеть невмочь, — ответил Вересов. — Ты вон от банок нос воротишь, а студент из них каждый день истину добывает. Истина, брат, она не пахнет ладаном. Она пахнет спиртом.

Прозектора они нашли в препараторской, где тот, не поднимая головы, разбирал какие-то бумаги и изредка прихлёбывал из жестяной кружки чай такого цвета, что Макар, заглянув, решил, что это тоже наука. Пётр Аркадьевич Глазков был сух, высок и морщинист, как выдер-

жанный пергамент, и носил на носу пенсне, сквозь которое смотрел на мир с неизменным скептицизмом человека, перевидавшего мир изнутри.

— Вересов, — проговорил он, не удивившись, и даже не поднявшись. — А я уж думал, вас занесут ко мне как-нибудь иначе. Слышал, слышал про вашу карьеру: переводите покойников на стекло, а не на стол. Променили анатомию на алхимию. Впрочем, — он пригубил кружку, — по сути одно и то же, только у нас наоборот: вы делаете видимым то, что было, а я — то, что есть.

— Рад, что вы не изменились, Пётр Аркадьевич, — отозвался Вересов, садясь без приглашения, потому что знал: приглашения тут не дождёшься. — А я к вам по делу. По вашей, можно сказать, специальности.

— По мертвецам, выходит, — кивнул Глазков. — Ну, выкладывайте. Только предупреждаю: живых я не принимаю.

Вересов рассказал всё, как было: про купца Сыча, про пустой гроб, про аккуратную яму, про крытый возок и след новых сапог. Глазков слушал, не перебивая, только кружка его раз от раза поднималась и опускалась, и в такт ей поднимались и опускались его кустистые брови.

— Значит, так, — начал он, когда Вересов закончил. — Первое: гробокопатели. Вы, сударь, будучи студентом, имели с ними дело не раз — не отпирайтесь, я всё про всех помню. Народ это, доложу вам, честнейший, только профессия такая, что честность у них выходит боком. Правило у них железное, я его самолично вбивал лет двадцать: свежих богатых могил не трогать. Ибо свежая богатая могила — это вдовы в трауре, полиция на цыпочках и газеты в сенсациях. А гробокопателю, как вору, нужна тишина. Посему Сыча они копать не могли: слишком шумно вышло бы.

— Это их правило, — согласился Вересов. — Но, может, кто из артели на свою голову польстился на бриллиант?

— Второе, — продолжал Глазков и поднял палец. — Бриллиантов они не берут. За бриллианты, сударь, вешают. А тело для анатомического театра — кража тихая, за неё, ежели и поймают, — этап, а не петля. И знают они, что к нам по ночам несут не драгоценности, а покойников. К нам в ту ночь ничего не приносили. А приносят нам по воскресеньям и четвергам, я это помню, как «Отче наш». Стало быть, в ночь с седьмого на восьмое артель на кладбище не работала. Сие я вам говорю как человек, который с их старшего в долгу и с ним, ежели надобно, поговорит.

— И кто у них старшой?

— Дядя Митрий, — Глазков усмехнулся. — Митрофан. Человек с лицом плакальщика и совестью казначея. Нынче держит похоронную контору для виду, а для дела — артель. Но и он вам скажет то же, что я: не наши это.

— А кто же?

— А вот тут, — Глазков отставил кружку и подался вперёд, — третье, и самое для вас любопытное. Вы мне описали яму: разрыт весь холм, доски сложены, гвозди вынуты клещами. Наши так не копают. Наши роют боковой лаз, узкий, в аршин, — им надо до гроба добраться с торца, вскрыть крышку с ног, а не сверху. Зачем весь холм-то разворачивать? Лишняя работа, лишний шум. А ваш человек разрыл могилу начисто, открыл гроб целиком, как будто ему не тело нужно было, а вид. Так копает не вор и не гробокопатель. Так копает либо могильщик, которому спешить некуда и которого ночью не спугнёшь, либо человек, которому нужно было не унести, а увидеть.

— Убедиться, — тихо сказал Вересов. — Что в гробу пусто.

— Именно, — кивнул Глазков. — И вот тут я вас спрошу, сударь, уже как прозектор: а с чего вы взяли, что в гробу вообще кто-то лежал?

Макар, до того старавшийся слиться с банками, не выдержал:

— Как это с чего? Хоронили же! Вдова, наследники, доктор засвидетельствовал...

— Доктор, — повторил Глазков с таким выражением, с каким повторяют слово, утратившее всякий смысл. — А знаете ли вы, кто засвидетельствовал смерть Мирона Прохоровича Сыча? Некто Фролов, Эраст Пантелеймонович. Частный врач с Гороховой. В анатомическом театре о нём ходит поговорка: «Фролов засвидетельствует всё, что угодно, кроме собственной смерти, и то лишь потому, что не успеет». Торгует свидетельствами, как лавочник мылом. Я, когда услышал про смерть Сыча, удивился: человек за три дня до того самолично на дворе тюки ворочал и торговался так, что слышно было на Гороховой. Апоплексический удар, говорите? Ну-ну. От вскрытия, разумеется, отказались. Ибо вскрытие, сударь, — вещь честная: оно разом отличает, что было и чего не было.

Глазков отставил кружку и прошёлся по препараторской, заложив руки за спину, как ходил когда-то перед анатомическим столом, читая лекцию.

— Я, Вересов, тридцать лет на одном месте, и сюда, — он обвёл глазами стены, — приносят не только тела, но и сплетни. А сплетня, скажу я вам, у нас бывает правдивее иного протокола: её не подчищают. Так вот, про доктора Фролова сплетня ходит давно и одна. Продажный человек. Не то что свидетельство продаст — он вам и смерть подпишет, и воскресение, была бы цена. И я, грешным делом, ещё в сентябре, как прослышал, что Фролов к Сычу зачастил, подумал: не к добру это соседство. Сыч тогда уже по уши в долгах был, по Гороховой только и разговору, что «Сыч-де Шустову последнюю рубаху должен». А Фролов, — Глазков остановился и поднял палец, — Фролов без выгоды и за порог не ступит. Значит, выгода у него в доме Сыча была. И выгода эта, — он понизил голос, — по всему, пахла не микстурой, а могилой. Доктор при покойнике — это либо к смерти, либо от смерти. А Фролов, я вам доложу, был как раз из тех, кто смерти навстречу идёт не со скорбью, а с расчётом.

— Вы хотите сказать, — медленно проговорил Вересов, — что Фролов мог сам всё это подстроить? И смерть Сыча — его рук дело?

— Я хочу сказать, — отозвался Глазков, снова садясь к кружке, — что когда вы, сударь, докопаетесь до дна этой могилы, — а вы докопаетесь, я вас знаю, — то на дне, попомните моё слово, окажется не один человек. Такие дела, как это, в одиночку не обдeldываются. Тут и доктор, и вдова, и сам «покойник», и, небось, ещё кто-нибудь, кого мы пока и не видим. Потому как мнимая смерть — она, братец, как фотография: один снимает, другой проявляет, а третий, глядишь, и продаёт. И вот этот третий-то и есть самый опасный. Его-то и ищите.

— Пётр Аркадьевич, — заговорил Вересов, подавшись вперёд, — вы ведь не просто так об этом заговорили. Вы что-то знаете.

— Я знаю, что у Сыча были долги, — ответил Глазков спокойно. — У кого их в купечестве нет, долгов-то. Но у Сыча, рассказывают, их было больше, чем у иного в кармане ассигнаций. А мёртвого от живого, Вересов, отличают всего три вещи: холод, бледность и отсутствие долгов. У Сыча долги, как видите, имелись в избытке. Стало быть, по всем приметам — живёхонек.

Он усмехнулся собственной шутке, но глаза его за пенсне оставались серьёзными.

— И вот вам, на закуску, самое пикантное, — прибавил он, понизив голос. — Намедни ко мне заходил господин, представился агентом страхового общества «Россия». Фамилия, кажется, Вешняков. И всё выпытывал: можно ли, дескать, по науке распознать мнимую смерть? Как человек, который не умер, а уснул — опий там, настойка, летаргия? И записывал, дурак, каждое моё слово в книжечку. Я ему и сказал: науке, сударь, это ведомо. Есть средства, от коих человек цепенеет, холодеет и дыханием не дышит — а сердце, поди ж ты, бьётся, только тихо, как мышь под снегом. Он слушал, кивал, благодарил. А я, проводив его, подумал: зачем страховому агенту, которому с покойников ни гроша, наука о мнимой смерти? А затем, выходит, что и ваш заказчик, Вересов, подозревает: Сыч не умер. Страховому обществу выгодно, чтоб покойник оказался живым, — тогда и платить вдове не надо, и полис их в целости.

В препараторской стало очень тихо. Макар смотрел на Вересова круглыми глазами, и даже банки, казалось, прислушались.

— Выходит, — медленно произнёс Вересов, — меня наняли не булавку искать. Меня наняли доказать, что покойник жив, а булавка — лишь предлог.

— А может, и не предлог, — возразил Глазков. — Может, и булавку им жалко: пятнадцать тысяч всё ж таки. Но заказ ваш, сударь, двойной, и это я вам говорю как человек, который в страховых обществах не состоит, а состоит в прозекторах. Вам платят за покойника, а надеются на живого. И вот что я вам скажу напоследок, Вересов, уже не как прозектор, а как ваш старый наставник: разберитесь, кого из них вы ищете. Ибо искать живого среди мёртвых — занятие богопротивное, а мёртвого среди живых — ещё хуже.

Вересов поднялся, поблагодарил и, уже взявшись за дверь, обернулся.

— Пётр Аркадьевич, — спросил он, — а ежели бы вам, при всём вашем опыте, предложили отличить на глаз: умер человек или только прикинулся?

Глазков поправил пенсне и посмотрел на Вересова поверх стёкол.

— Я бы, сударь, посадил его на стул и заговорил с ним о его долгах, — усмехнулся он. — Мёртвый о долгах молчит. А живой — непременно выдаст себя. Хоть глазом дёрнет, хоть веком. Смерть, знаете ли, от всего избавляет, но от векселей не спасает даже она.

От анатомического театра до Лиговки было недалеко, и Вересов, вместо того чтобы сразу ехать домой, велел извозчику поворачивать к похоронной конторе Митрофана Селивёрстова. Глазков, провожая его, черкнул на клочке адрес и прибавил напутствие: «Скажешь, что от меня. И смотри, ничего у него не покупай — он тебе и венок, и гроб, и место на кладбище продаст, а ты ещё и спасибо скажешь».

Похоронная контора помещалась на Лиговке, в полуподвале, и вывеска над нею — «М. Селивёрстов. Гробы, венки и прочее убранство» — была намалёвана такими строгими буквами, будто покойников здесь не провожали, а принимали в гимназию. Внутри пахло стружкой, лаком и кипарисом, вдоль стен стояли гробы — от простых, сосновых, до дубовых, с серебряным позументом, — и среди всей этой мебели, за конторкой, сидел сам хозяин: маленький, сухой, с лицом плакальщика и с глазами, которые смотрели на вошедших живо и цепко, как два буравчика, — не к лицу своему, да и не к месту.

— Господин Селивёрстов? — спросил Вересов.

— Митрофан, — поправил хозяин, не вставая. — А вас, выходит, Пётр Аркадьевич прислал. Он вчера вечером ко мне заходил, чай пили. Сказал: придёт к тебе, Митрий, фотограф, будешь ему свидетелем по могильному делу. — Он усмехнулся, и от этой усмешки лицо его сделалось ещё больше похоже на плакальщика, который вдруг вспомнил смешное на похоронах. — Садитесь, господа. Чай? Самовар у меня, извините, наготове, только кипяток нынче — по покойникам.

— По покойникам — это я уже понял, — отозвался Вересов, садясь на табурет, с которого предварительно снял венок. — Вы, говорят, человек, который знает про ночную жизнь Волкова кладбища больше любого сторожа.

— Сторожа, — фыркнул Митрий. — Сторожа на кладбище спят. А мы, сударь, не спим, у нас служба ночная. Только вы не подумайте дурного: мы не воровством промышляем, а наукой. Тела для анатомического театра возим — покойников безродных, что иначе так бы и сгнили без пользы. Спросите хоть у Петра Аркадьевича: благодаря нам его студенты в живых не резались. А это, доложу я вам, богоугодное дело, хоть и ночное.

Макар, замерший у двери между двумя гробами, тихонько икнул и перекрестился на всякий случай — то ли на Митрия, то ли на гробы, то ли на науку.

— В ночь с седьмого на восьмое, — перешёл к делу Вересов, — на Волковом разрыли могилу купца Сыча. Гроб вскрыли, а гроб пуст. Не ваши ли люди?

Митрий выпрямился, и глаза его посерьезнели.

— Не наши, — твёрдо ответил он. — И вот вам моё слово, фотограф, а слово моё в этих делах — как закладная: дороже не бывает. Наши работают по воскресеньям и четвергам,

и свежих богатых могил не трогают. У нас, сударь, своя вера: свежая богатая могила — это вдовы в трауре, полиция на цыпочках и газеты в сенсациях. А нам, извините, шум не надобен. Тело тихое — кража тихая. За бриллианты же, — он понизил голос, — вешают. И мои люди это знают лучше «Отче наш».

— А кто, по-вашему, тогда? — спросил Вересов.

— А вот тут, — Митрий подался вперёд и сложил руки на конторке, — я вам скажу то, чего полиция не слыхала, потому как полицию мы, сами понимаете, не жалуем. В ту ночь мой человек был у северных ворот — не по нашему делу, а по своему, мимо шёл. И видал он крытый возок. Стоял возок у ворот, покуда сторож обход делал. А на козлах сидел, — Митрий сделал паузу, — не извозчик. Кучер господский, в кафтане с галуном. Значит, не воры приезжали, не голытьба с ломami. Приезжал господин, у которого свой выезд и свой кучер. А господин, у которого свой выезд, могил сам не роет — он для того людей возит. И копали, доложу вам, не могильной лопатой. Могильная лопата — она широкая, ею холм вертят, как хотят. А там земля вынута ровно, пластами, будто хлеб резали. Так роет сапёрная лопатка, короткая, с заступа. Такие, сударь, в армейском обозе возят, а не на кладбище. Вот и судите сами, кто это был: господин с выездом да при нём человек с сапёрной лопатой. Это вам, фотограф, не воровская работа. Это работа злая и обдуманная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.